



Н. Горбаневская

АНГЕЛ
ДЕРЕВЯННЫЙ

Ардис





Н. Горбаневская

АНГЕЛ
ДЕРЕВЯННЫЙ

Ардис

Copyright © 1982 by Ardis

*All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced in any form or by any means
without the written permission of the publisher.*

*Ardis Publishers
2901 Heatherway
Ann Arbor, Michigan 48104*

Library of Congress Cataloging in Publication Data

**Gorbanevskaia, Natal'ia.
Angel dereviannyi.**

1. Title.

**PG3481.2.R15A83 1982 891.73'44 82-16394
ISBN 0-88233-662-2
ISBN 0-88233-663-0**

АНГЕЛ ДЕРЕВЯННЫЙ

ИЗ РАННИХ СТИХОВ

Данный мир
удивительно плосок.
Прочий
заколочен наглухо.
Не оставили даже щель между досок.
Старались. Мастера.

Два
измерения в этом мире.

А мне
и трех мало.
Бьешься лбом,
во вселенную дверь взломала,
а окажешься в чужой квартире.

И то лучше —
комнатным вором,
чем в своих четырех без окон.

Мне хочется встать и выйти на форум.

Но Форум
это кинотеатр на Самотеке.

Там кажут кино на широком экране,
безнадёжно плоском, как полотна Иогансона,
и каждую меру знаешь заранее,
и всё по регламенту — чинно и сонно.

А нам вот
не снятся спокойные сны.
Нам хочется странного —
например, глубины.

Глубина.
Кто мне скажет —
что же она?
Океан?
Или, может,
чужая душа?
Но чужая душа как известно потемки.
Так возьмемте по старой котомке на плечо
и пойдем
на четыре стороны света
посмотреть
не найдется ль в заборе дыр,
поискать
не нами потерянный мир
и выпрашивать крохи небесного света
у прогнивших колодцев
и сереньких тучек,
не загадывая феерий.

Пусть феерии ставит талантливый Плучек.

К сожалению
мы бутафорам не верим.

1956

ПО ПРОЧТЕНИИ КНИГИ РЭЯ БРЭДБЕРИ
„451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ”

Очень неглупые люди
Очень неглупые люди
Очень Очень Очень
Очень неглупые люди
Кто их, скажите, осудит?
Кто их, скажите, осудит?
Такие неглупые люди.
Просто почти мудрецы.

Обугленные обложки
не читанных мною книг.
Обугленные обложки.
Неграмотный истопник.

Очень неглупые люди
сказали ему: — Сожги.
Сказали, что эти книги —
это его враги.

Теперь допускают к пеплу:
— Ройтесь в добре и зле.
Теперь допускают к пеплу:
— Ищите счастья в золе.

Я разгребаю пепел —
руки по локоть в саже.
Я разгребаю пепел —
нету и буков даже.

Очень неглупые люди.
Они обо всем подумали.
Чтобы другие люди
уже ни о чем не думали.

1956

Огонь в печи почти погас,
чуть-чуть чуть-чуть трещат поленья.
Еще не пробил правды час,
еще не смыто преступленье.

Еще над сонными горами
не протрубили судный день,
и в город всё идут с дарами
от обнищалых деревень.

Холодный синий дым над домом
в прозрачном воздухе стоит,
и по знакомству незнакомым
Господень ангел говорит:

Еще не смыто преступленье,
еще не пробил правды час,
еще трещат в печи поленья,
хотя огонь уже угас.

1956

Отраженье фонаря в луже
поколеблено дождем мелким.
Утопает бурый лист палый.
Как недвижим под дождем город.
Только пойманный фонарь бьется.

1957

Мы согреем холодные стены сарая дыханьем
своим,
Мы прославим шершавое сено во многих
стихах и новеллах.
А уйдем, и от дома останется пепел,
железо и дым.
И деревья с такими листьями, как уголь.
И ветер, наверно.

Ветер крутит в трубе, и гудит, и ревет,
как несытое пламя.
И на сажу ложатся сердито косые заглесты
дождя.
Мы простимся на мокром фанерном перроне,
с сухими глазами.
Пепел по ветру пущен, наверно. И поезд
гудит, отходя.

1958

Я знала: это — чудо,
и знала власть чудес,
но что-то было чуждо,
как сумеречный лес.

Художник онемело
указывал холсты,
сама ж я не умела
проникнуть их черты.

Наутро я проснулась
высо́ко над Москвой,
кругом стена тянулась
холодной мастерской.

И стали мне понятны
полотна на стене —
и полосы, и пятна,
и что́ все это мне.

1959

Когда смолкают короли,
перед занавес выходит шут,
он вертит пестрой головой,
и он умнее всех.

Когда смолкают короли,
суфлер тетрадку закрывает,
где их священный бред
дословно занесен заранее.

Перед занавес выходит шут,
и он умнее всех,
и вы хохочете ужасно,
чтоб заглушить его.

Давно умолкли короли,
и за кулисами короны картонные
на полочках лежат,
и шут пошел к себе домой,
он вертит пестрой головой,
и он умнее всех.

1959

Ну, где же дом, который для меня построил
Джек?

И где синица?

Синица в небе, а журавль за морем.

Поди, душа моя, на площадь, попляши,
повеселись, пока фонарики горят.
В конце концов — нужна ли крыша для души?

Синица в небе. И в моих стихах.
В стихах моих поют-свистят синицы
заместо синей птицы.

Поди, душа моя, порадуйся, попрыгай,
ладошкой в ладошку постучи.

Журавль за морем. И в моих стихах
с эпитафией перевернутого Блока.
И мачты ломаются. И птицам плохо.

Поди, душа моя, поди себе, посмейся.

А я отправлюсь в книжный магазин
и мне откроют нужную страницу.

Вот дом, который построил Джек.
А это синица.

А где же Джек?

1959

Стуча копытами по небу,
стуча копытами,
к распластанному Фебу,
стуча копытами,
стуча и бормоча не в тон,
рвануть и расшибусь,
как Фазтон.

Обломки колесницы погребут, потом откоют,
и им в музеях место уготовят,
но без меня.

Шестая спица в колеснице
моя разгоряченная повадка,
моя — не для небес моя походка
и перенапряженность
до белых пятен на косточках кистей.

О Боже, как занятен
конец иных затей.

1960

Прости меня.
Мой взгляд с уклоном.
Но я еще взгляну тебе в глаза.
И загляну.
И с перебитым звоном
качнется и сорвется колокольная глава.

На звоннице, на звоннице к малиновой заутрене
звонарь – увы – молчит.
Увы – молчит звонарь.
На звоннице разметанные кудри
и откатившийся, забывшийся, разбившийся
фонарь.

И забытьё осколков фонаря на каменных
ступеньках,
и забытьё щербинок на каменных ступеньках
и пылинок, оседающих на выбитый фонарь.

К малиновой заутрене никто не прозвонит,
звонарь ужасно занят,
он не спит,
не убит,
он в глаза мои глядит,
и не смеет шевельнуться,
и не смеет отвернуться...
Малиновый, немолитвенный качается рассвет,
начинается рассвет,
кончается рассвет
за каменным пустым окошком.

Прости меня.
Прости мой взгляд с уклоном.
Прости, что всё на месте в государстве
колокольном.

1960

Утро. Ветрено. Лес
крутится. Каждое дерево –
веретено. С волос
тянутся паутинки.
Каждое дерево – лес.
Каждое дерево – дом.
Под каждым деревом нам
дом, и стол, и постель.
Белые паутинки
путаются в волосах.
Тонкие паутинки
тянутся и цепляются
в тонких и ломких веточках,
опутывают хвоинки.

Доброе утро. Постой,
выпутай паутинки,
смахни полусонной рукой
сухие со щек травинки,
сухие слезинки со щек,
некуда нам спешить,
еще не последний раз,
еще не в последний раз
сухой и ветреный лес,
сухие слезы у глаз.

1960

Колокола и купола,
и ранним-ранним утром
уходят те, кому пора
в далекую дорогу.

Колокола подвязаны,
и купола подрезаны,
и возле пристани во льду
черные лодки.

1961

СТРЕЛОК ИЗ ЛУКА

Глядите на подоконник,
на синие стекла во льду,
на потолок и на коврик,
покудова я не войду.

Покудова комната комом
не стала у горла. Пока
она еще кажется домом
от пола до потолка.

Мой милый, скажу я, милый,
и так поведу рукой,
как черный черкес немирный
врывается в русский покой.

Как черным вертящимся дымом
развертывается пожар
и первый язык над домом
взлетает и пляшет дрожа.

Я дрогну от этих жгучих,
от выжженных нежностью рук,
от еле заметных излучин
в значеньи всего вокруг,

от перезабытых значений
сбивчивых, тихих речей...
Но комната комом. Зачем мне
тот голос негромкий. Зачем?

Мой жребий неумолимый,
бери меня, приучай.
Мой милый, скажу я, милый.
Мой милый, скажу я, прощай.

1962

КОНЦЕРТ ДЛЯ ОРКЕСТРА

Послушай, Барток, что ты сочинил?
Как будто ржавую кастрюлю починил,
как будто выстукал на ней: тирим-тарам,
как будто горы заходили по горам,
как будто реки закрутились колесом,
как будто руки удлиннились камышом,
и камышиночка: тири-тири-ли-ли,
и острыми носами корабли
царапают по белым пристаням,
царапают: царап-царам-тарам...
И позапрошлогодний музыкант,
тарифной сеткой уважаемый талант,
сидит и морщится: Тири-тири-терпи,
но сколько ржавую кастрюлю ни скреби,
получится одно: тара-тара,
одна мура, не настоящая игра.
Послушай, Барток, что ж ты сочинил!
Как будто вылил им за шиворот чернил,
как будто будто рам-барам-бамбам
их ржавою кастрюлей по зубам.
Еще играет приневоленный оркестр,
а публика повскакивала с мест
и в раздевалку, в раздевалку, в раздевал,
и на ходу она шипит: Каков нахал!
А ты им вслед поешь: Тири-ли-ли,
Господь вам просветленье ниспошли.

1962

Как андерсовской армии солдат,
как андерсеновский солдатик,
я не при деле. Я стихослагатель,
печально не умеющий солгать.

О, в битву я не ради орденов,
не ординарцем и не командиром —
разведчиком в болоте комарином,
что на трясушей тропке одинок.

О — рядовым! (Атака догорает.
Раскинувши ладони по траве — — —
а на щеке спокойный муравей
последнюю кровинку догоняет.)

Но преданы мы. Бой идет без нас.
Погоны Андерса, как пряжки танцовщицы,
как туфельки и прочие вещицы,
и этим заменен боезапас.

Песок пустыни пляшет на зубах,
и плачет в типографии наборщик,
и долго веселится барахольщик
и белых смертных поставщик рубах.

О родина!..
Но вóроны следят,
чтоб мне не вырваться на поле боя,
чтоб мне остаться травкой полевой
под уходящими подошвами солдат.

1962

А чего ты? А я ничего.
Я хожу по мостам и проспектам,
по прогалинкам и просветам,
и не надо мне ничего,
ни ответа и ни привета,
и ни голоса ничего.

А зачем это? А низачем.
Просто я не в аптеке провизор,
а ходок по корявым карнизам,
просто город пронизан лучом,
не имеющим предназначенья,
просто незачем — и низачем.

Я ходок по карнизам и трубам.
Но откуда я? Как объяснить?
То ли города, города рупор,
то ли горя горького нить.

Ах, откуда я? Из раскопок?
Из грядущего? Как знать?
Вся я вытащенный из-за скобок
вопросительный выгнутый знак.
Зацепившись за солнечный круг,
вопросительный сломанный крюк.

1962

Стрелок из лука, стрелок из лука,
стрелок, развернутый вперед плечом,
она трепещет, моя разлука,
оставь ее, вложи в колчан.

И опустишь на песок полигона,
оружье слабое отложив.
А небо пусто. А поле голо.
А горло сходится ото лжи.

Стрелок из лука, а ты ракетой,
а ты бы бомбой, покуда цел.
А в чистом поле.
А под ракитой.
А сокол в рощу улетел.

1962

Вот солнышко. Оно без тиражей
до всех доходит и для всех восходит
и жителя блиндажей и траншей
оно тотчас же к свету прихотит.

Вот месяц. Он один на целый мир,
он непомерно, непосильно юный,
но не себя он хрупкого сломил,
а темноту глубокой ночи южной.

Вот ночь и день, тепло, и свет, и тень,
вот тень моя, вот взрослые и дети,
Тень-тень, пропели дети, потетень,
а это тема в некоем квинтете.

Вот музыка – рояль и граммофон,
а это я стою посередине.
Вот музыка – она громоотвод
от всех трагедий, ото всех идиллий.

1962

Пора понять начало всех начал,
к тебе приходит дьявол по ночам,
он прям и прост, как в ставенках просвет,
его уж нет, когда идет рассвет.

А ты смеешься, губы солоны,
как девочка, упавшая с луны,
не слышавшая имени греха,
и засыпаешь с криком петуха.

Но вот они, тетрадные листки,
оруженосцы страсти и тоски,
строители заброшенных дорог,
дарители непрошенных даров.

Откуда же такая в горле сушь?
Так это он, улавливатель душ,
так это он бессмертье заменил
мучительною скляночкой чернил.

1962

Мой Фортинбрас, мой бедный брат,
вот Дания моя,
она из моего ребра,
и вся она, как я.

И вот тебе моя игра,
теперь она твоя —
и путь добра, и тьма преград,
и тайна бытия.

И все, и все мое прими.
Или постой, повремени,
намеренье перемени,
еще ты не король,
ступай, ничем не прогреми,
не трогай эту роль.

1962

Но это только ветра свист,
протяжный ветра свист,
и жизнь моя, как чистый лист,
осенний легкий лист.

Кружи, какая-то печаль,
насвистывай, свирель,
кого-то нет, чего-то жаль,
метель, метель, метель.

Мне до апреля не дожить,
метели завывать.
Кого жалеть? Кого любить?
Кого не забывать?

Кого мне помнить? На кого
глаза не поднимать,
свое чудное торжество
не знать, не понимать.

1963

Свело мне руки водою ледяной,
за красным солнцем, в колодце отраженным,
спускаюсь в полдень, и небо надо мной
дрожит, дрожит и кажется тяжелым.

За первым кругом откроется второй,
но я пройду их девять раз по девять,
чтоб вычерпать березовой корой,
что суждено мне в этой жизни сделать.

Летит бадейка, цепью прогремев,
и кверху поднимается пустая,
моя свобода, прощальный мой припев,
колодезная песенка простая.

1963

Все равно потом
ничем не вспомнят,
был ли Данте гвельф
или гибеллин,
и какого цвета
флаг,
и был ли поднят,
и в каком огне
себя он погубил.

Ох, могила братская,
сторона арбатская,
во Флоренцию махнуть,
помолиться,
Алигьери помянуть,
поклониться.

1963

О город, город, о город, город,
в твою родную рвануться прорубь!

А я на выезде из Бологого
застряла в запасных путях,
и пусто-пусто, и голо-голо
в прямолинейных моих стихах.

И тихий голос, как дикий голубь,
скользя в заоблачной вышине,
не утоляет мой жар и голод,
не опускается сюда ко мне.

Глухой пустынный путейский округ,
закрыты стрелки, и хода нет.
Светлейший город, железный отрок,
весенний холод, неверный свет.

1963

Я в лампу долью керосина.
Земля моя, как ты красива,
в мерцающих высях вися,
плетомая мною корзина,
в корзине вселенная вся.

Земля моя, как ты красива,
как та, что стоит у залива,
отдавшая прутья свои,
почти что безумная ива
из тысячелетней любви.

Земля моя, свет мой и сила,
судьба моя, как ты красива,
звезда моя, как ты темна,
туманное имя Россия
твое я носить рождена.

1963

ГРАНИЦА СВЕТА

1964

Что о беде да что о красоте,
когда само обмана захотело
нагое, как разбойник на кресте,
счастливое, беспмятное тело.

Кто плачет и курлычет надо мной,
перелетая снежную границу,
где ветер зимний, ветер ледяной
выстуживает светлую криницу.

И в неземной сведенности страстей,
в разлуке рук, в разреженном дыханье,
как на кресте, и тихий хруст костей,
как на костре и треск, и полыханье.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ИОСИФУ БРОДСКОМ

1

За нами не пропадет
— дымится сухая трава.
За нами не пропадет
— замерли жернова.

За нами ни шаг и ни вздох,
ни кровь, ни кровавый пот,
ни тяжкий кровавый долг
за нами не пропадет.

Огонь по траве пробежит,
огонь к деревьям припадет,
и к тем, кто в листве возлежит,
расплаты пора придет.

Фанфара во мгле пропоет,
и нож на стекле проведет:
за нами не пропадет,
за нами не пропадет.

2

Равнодушный Телеман,
дальночеловек,
отчужденья талисман
в этот черный век.

Телеграф и телефон
вон из головы,
отрешенья Пантеон
в кончиках травы.

И надежда, что свихнусь,
в венчиках цветков,
закричу и задохнусь
в тяжести венков.

Мне бы в воду, мне в огонь,
в музыке — пробел.
Глухо запертый вагон —
музыки предел.

3

Мой сын мал. Он
говорит вместо "музыка" — мука.
Но как прав он
в решеньи лишенья звука.

Мой мир велик. Но и в нем
царит вместо музыки мука.
Над рампою лампой, огнем
меж правом и правдой разлука.

Мой мир не велик, но далек,
в нем выживут долгие ноты.
Протяжно ревет вертолет,
протяжно стучат пулеметы.

В аракчеевом Чудове
на вокзале сплю,
засыпаю, просыпаюсь,
электричку жду,
чуть ли не sny
во сне смотрю,
чуть ли не плачу
у всех на виду.

Вокзал да казарма,
да шпалера деревец,
да шпалера журавлей
на юг, на юг,
проснуться — не проснуться,
зареветь — не зареветь,
журавли во сне
себя не узнают.

Казармы да базары,
фанера да жесь,
подстреленный журавль
взлетает в вышину,
на месте вокзала
пожар зажечь,
чем ярче — тем жарче,
в высоту и в ширину.

Вокзал стоит,
фонарь горит,
у зажигателя
смятенный вид,
не подвигается
дело к весне,
во сне попутал Господь,
во сне.

За рифмой не гонюсь,
за славой не гонюсь,
ни за тобою, всех перепродажа,
ищи – свищи, скачу – не оглянусь –
воробушком по крыше Эрмитажа.

Воробушком, ободренным в боях,
наперекор непробивному ветру,
по белому, нелепому по свету,
корабликом во вздыбленных морях.

Твой взгляд ложится мне в глаза,
как на́ плечи ложатся годы,
как предсказаньем непогоды
к земле, покинув неба своды,
ложатся птичьи голоса.

И как он полон, легкий взгляд,
такого тяжкого давленья,
как на конце стихотворенья,
где рифмы сбились все подряд,
уж ничего не говорят,
но руки ломают и горят. . .
И все же нет во мне смиренья.

**В тридевятой жизни, счастливая случайность,
единожды увидеть единственное лицо,
единственного лица глухое мерцание,
в тридевятой жизни, в тридесятом царстве,
молчание, мерцание – и больше ничего.**

– Не тронь меня! – кричу прохожим,
не замечающим меня.

Чужие комнаты кланя,
слоняюсь по чужим приходим.

Но кто пробьет окно в стене?

И кто протянет руку мне?

Горю на медленном огне.

Не избыть беды, не избежать беды,
не забыть, не сбежать.
Не испить воды –
ни ручья зачерпнуть,
ни пригубить кувшин,
ручьи горячи,
кувшины страшны,
перекошены,
как лицо мое
незнакомое.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ В ДОРОГЕ

1

Утро раннее,
петербургская темь,
еду в Юрьев
на Юрьев день.

Утро синее,
солнце в гробу,
еду по свету
пытать судьбу.

Под фонарями
и то не светло,
по улице Бродского
иду в метро.

2

Но Кюхля Дерпту предпочел
водовороты декабризма,
от Петербурга слишком близко
спасительный тот был причал.

Нет, пол-Европы проскакать,
своею жизнью рисковать
в руках наемного убийцы
и, воротясь к земле родной,
как сладостною пленой,
кандалной цепию обвиться.

Г. Корниловой

Господи, все мы ищем спасенья,
где не ищем – по всем уголкам,
стану, как свечка, на Нарвском шоссе я,
голосую грузовикам.

Знаю ли, знаю ли, где буду завтра –
в Тарту или на Воркуте,
”Шкода” с величием бронтозавра
не прекращает колеса крутить.

Кто надо мною витает незрим?
Фары шарахают в лик херувима.
Не проезжай, родимая, мимо,
иначе все разлетится в дым.
Не приводят дороги в Рим,
но уходят все дальше от Рима.

Прохожий – проходи!
Проезжий – проезжай!
Свеча в окне чади,
и стынь в вагоне чай.
И все при деле так,
что некогда взглянуть
по сторонам, и так,
что не о ком вздохнуть.

При деле, как свеча,
как чашка с кипятком,
как инвалид, стуча
в полтинник пятаком,
в зубах зажав картуз
и, глядя, что дают,
скосив глаза ко рту.
Но тут не подают.

Качается вагон,
качается костыль,
и кажется ногой
дубовая бутыль,
и горлышком об пол,
и горлом о косяк,
и всем лицом в подол,
совсем глаза скося.

Припав к теплу колен,
локтей, кистей, колец,
почуяв, захмелев,
качаниям конец,
при деле, как в огне
темнеющий фитиль,
как наотлет к стене
оставленный костыль.

Тоску в тоску продев,
как тень свечи в углу,
при деле, как предел
и роду, и числу,
как недопитый чай,
качаемый в пути. . .
Прохожий, проезжай.
Проезжий, пролети.

Е. Рейну

Шарманка, пой, шарманка, вой,
шарманка, в прорубь головой,
ах, в заколоченном саду
поет шарманка раз в году.
И снег идет, и тает лед,
и тает снег, и лед идет,
ломая льдины на пруду,
поет шарманка раз в году.
И тает снег, и плачет пес,
и я своих не прячу слез,
и щек намокших не утру,
кричит шарманка на ветру.
Шамань, мошенничай, шуми,
но душу вынь и всю возьми,
на заколоченном пруду,
и в замороженном саду,
и всюду, в небе и в аду,
поет шарманка раз в году.

Сила соленого ветра,
света, листвы и воды,
свитер небесного цвета,
выцветший до слепоты,
лодка, стучащая в дальних
волнах, и вскрик на песке,
след мой невысохший вдавлен
в дюны, песок на виске.

Смиренно опущу глаза
перед чужими чудесами
на полчаса, и полчаса
стою, как мальчик под часами.

Не отведу притихший взор
от краешков своих ботинок,
в руке цветы сомну, и сор
войдет в неравный поединок

с летящим ветром, лепестки,
со мной расстаться не желая,
на тыльной стороне руки
зацепятся, как неживая

рука цепляется за то,
что ухватила перед смертью, —
за руку друга, за пальто,
за пуговицу, за бессмертье.

Так с непокрытой головой,
обсыпанная лепестками,
я срок свой получасовой
стою, как мальчик под часами.

Выстаиваю полчаса,
покрытая цветочным сором,
разглядываю чудеса
полуприкрытым сонным взором.

И, как ладошка неживая,
уже лишенная тревог,
еще лишенная свечи,
еще откинута косо,
отбивши под часами срок,
уже чудес не ожидаю,
и кто-то задает вопросы,
а кто-то шепчет мне: — Молчи.

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

1965

Говорить разучусь,
не совсем, так по-русски,
со всеми разлучусь,
не навек, так на годы,
нет меня ни
у Невы, ни у Таруски,
переменила
я слова и глаголы.

Свинцовые волны,
чужое море,
сосновые челны,
сухие весла,
а паруса
проедены молью,
а голоса
шуршат, как известка.

Moja przeszłość zginęła,
a przyszłości nie będzie,
obcego legionera
nie zostawcież w nędzie.

Но и там меня нету,
сколько зим, столько лет,
проплывя через Лету,
простывает мой след,
остывает горло,
холодеет щека,
и рука примерзла
и руке на века.

О жизнь моя, междометие,
о нечленораздельная,
о смерть моя незаметная
осеннего растения.

Что, дорывалась распятия?
Что, добивалась плахи?
Оборванная и смятая
нитка из рук у пряжи.

О пряжа Господа Бога,
священная паутинка,
растоптана и убога,
на подошве чьего ботинка?

О жизнь моя — не выговорить!
О смерть моя — ну и что?
А вы говорите, это вы говорите,
что ничто ни из чего и в ничто. . .

Ах, откуда я?..

А я откуда? Из анекдота,
из водевиля, из мелодрамы,
и я не некто, и я не кто-то,
не из машины, не из программы,

не из модели. Я из трамвая,
из подворотни, из-под забора,
и порастите вы все травюю,
весь этот мир — не моя забота.

А я откуда? Из анекдота.
А ты откуда? Из анекдота.
А все откуда? А всё оттуда,
из анекдота, из анекдота.

Со страниц моих
исчезает свет,
вкось и вкривь
перо скрипит,
не на час, не на миг,
исчезает навек,
в заросли крапив
моя Муза спит.

Она спит, лопухом
коленки укрыв,
в тени крапив,
как под сенью ив,
в волосах репы,
на щеках ручьи,
а перо мое скрипит
и вкось и вкривь.

Без нее, одна,
на века, на века,
мне моя рука
не видна, не видна,
и последний свет
оседает, как снег,
как последний снег,
как под солнцем снег.

И вовсе нету ничего — ни страху,
ни цепененья перед палачом,
роняю голову на вымытую плаху,
как на случайного любовника плечо.

Катись, кудрявая, по скобленным доскам,
не занози разинутые губы,
а доски ударяют по вискам,
гудят в ушах торжественные трубы,

слепит глаза начищенная медь,
и гривы лошадиные взлетают,
в такое утро только умереть!

.....

В другое утро еле рассветает,

и в сумраке, спросонья или что,
иль старый бред, или апокриф новый,
но все мне пахнет стружкой сосновой
случайного любовника плечо.

ПРОЩАНИЕ С КЮХЕЛЬ БЕККЕРОМ

Холодно́ ли, Виленька, в Сибири,
в азиатском сугробе?
Потеплеет, Виленька, в могиле,
во гробе, у земли в утробе.

Будет и тёпло, будет и пекло,
горше не станет,
уплывет с водою горстка пепла
по весне, когда снег тает.

Пеплом – стихи, трагедии – прахом,
жизнь – по ветру летящим.
Кланяйся, Виленька, повешенным братьям,
братьям старшим, прахом ставшим.

НЕОКОНЧЕННЫЕ СТИХИ

А. Рогинскому

Уж полночь, и фонари
горят через один,
теперь до утренней зари
по городу броди.

Ночь соскребла с фасадов год
и соскоблила век,
и город пуст, как огород,
но город, как ковчег,

плывет, плывет и вот вплывет
в рассветный холодок,
и меж окон и у ворот
проступит век и срок,

и ты очнешься на мосту,
над Яузой, в слезах. . .

И к сладости дождя примешивая слезы,
губами славливая эту соль ресниц,
я счастлива. Ты счастлива? Проснись,
еще укрыты в мокрых тучах звезды,

и в темных небесах лишь полосы воды
вычерчивают видимые знаки,
а свет луны в далекое изгнание
неправедные сплавили суды.

Сверчок поет в сочельник,
в январский понедельник,
и звон колоколов
плывет среди сугробов,
едва-едва затронув
их краешки крылом.

Поет сверчок в сочельник,
молчит мой гость случайный,
а звон колоколов
в глубоком снеге тонет,
в высоком небе тает,
в пространстве без углов.

Зато в углу у печки
сверчки, как человечки,
стрекочут, а кругом
и тает звон, и тонет,
но на прощанье тронет,
коснется нас крылом.

На шею вешаюсь, как ладанка и крест,
но всё безбожники, безверники окрест.

Рванут покрепче шелковый шнурок,
и медный крест в пыли лежит у ног.

И я, в камнях застрявши головой,
распята на булыжной мостовой.

И сыплется из ладанки песок,
вчера еще родной земли кусок.

И затихают дальние шаги,
и влажен камень у моей щеки.

От возраста дошкольного
до звона колокольного,
до звона погребального
от вас я не избавлена,
советчики, попутчики,
раскормленные лучники,
худые арбалетчики,
с меткою на плечике,
дьявола разведчики.

Но в звоне том, но в том году
я дымом к небесам взойду,
взойду, как дым, в небесный храм,
а вы долой, домой, к котлам,
к своим котлам, несчастный хлам.

Не сокруши меня ты, Господи,
не проиграй меня в очко,
не прогони бродягой по свету
идти, не веря ни во что.

Ты, что по морю яко по суху
прошел, ступая широко,
не опусти меня без посоха
в земных страданий решето.

Ты, Боже, Сыне Человечий,
коли решил на эти плечи
ярмо с бубенчиком надеть,
не отпусти меня свободной,
не попусти в ночи холодной
душе моей заледенеть.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

День стирки и стихов. Склоняясь над тазами,
ворчу и бормочу, белье в руках кручу,
а белое в ведре зеленом кипячу,
а пена мыльная дрожит перед глазами.

Как радостны стихи, вертясь во рту моем,
как радужны круги, в глазах моих качаясь,
а розы, на поплине мокрым начинаясь,
поплыли на стенах, на стеклах, за окном.

Но под конец игры отяжелеют руки,
и не в игру игра, и в горле как дыра,
и, протянув веревку посреди двора,
я с голосом своим не оттяну разлуки.

Любовь, любовь! Какая дичь,
какая птичья болтовня.
Когда уже не пощадить,
не пожалеть меня,
то промолчи. Да, промолчи,
не обожги моей щеки
той песенкой, что, заучив,
чирикают щеглы.

Той песенкой, где, вкось и вкривь
перевирая весь мотив,
поэт срывается на крик,
потом на крики птиц,
потом срывается на хрип,
на шепот, на движение губ,
на темное наречье рыб
и на подземный гул.

Любовь из каждого угла,
всего лишь пища для стихов,
для глупой песенки щегла,
для крика петухов.
Так промолчи. И помолчи.
Коснись рукой моей щеки.
Как эти пальцы горячи.
Как низки потолки.

Но нет меня в твоём условном мире,
и тень моя ушла за мной вослед,
и падает прямой горячий свет
на мой коряворукий силуэт.

Опять моя отрада мерить мили
в грохочущих, как театральный гром,
грузовиках, ободанных кругом,
и взмахивать рукою, как крылом.

Одни дороги мне остались милы,
и только пыльный плавленный асфальт
из-под колес бормочет: — Не оставь,
не доезжай, Наталья, до застав.

Одни дороги мне остались милы,
Опять моя отрада мерить мили.
Но нет меня в твоём условном мире.

Окраины враждебных городов,
где царствует латиница в афишах,
где готика кривляется на крышах,
где прямо к морю катятся трамвай,
пришелец дальний, воздухом окраин
вздохни хоть раз, и ты уже готов,
и растворён навстречу узким окнам,
и просветлен, подобно крышам мокрым
после дождя, и все твое лицо
прекрасно, как трамвайное кольцо.

Расти во мне, тревога,
смотри в четыре ока
на ясный небосклон
с полоской облаков.

Расти, как тяжелеют
те, что еще белеют,
те, что еще пока
зовутся облака.

Смотри, как тяжелеют, —
уже и не белеют,
уже в железо туч
не просверлится луч.

Расти во мне глубоко,
как снег внутри сугроба,
да не растай, пока
не тают облака.

Ни элегий, ни од, ни эклог,
только горького кофе глоток
да коптилки флажок в потолок.

Мой потерянный рай, засыпай,
засыпай, как звереныш слепой,
я захлопнула дверь за собой.

Зацепясь за ореховый куст,
в темноту его смаху уткнусь,
и скользнет по губам холодок,
как остывшего кофе глоток.

Не потому что ты, не потому что я,
а просто выгорала из-под ног земля.

Не потому что я, не потому что ты,
а просто лето, нас обняв обоих,
поставило меня перед тобою
так близко, что уже не отойти.

Вчерашний жар с железных крыш спадал,
и духота стихала перед утром,
но, возносясь над сонным переулком,
из трех окон не утихал пожар.

И при разлуке слез не пролилось
ни из одной глазницы обожженной,
и до сих пор, как факел обнаженный,
я вся смолой пропитана насквозь.

TEMHOTA

1966

Любовь проотрицав,
попасть в ее тенета,
отнять от слов темноты,
как руки от лица,

и взвидеть света взрыв
над городом и лесом,
как Кирие элейсон,
как мартовский призыв,

и моцартовский хор
над громким ледоходом,
как тот блаженный холод,
плывущий с белых гор.

У радостного Моцарта весло,
у горестного Моцарта ветрило.
Бесслезной скорбью скулы мне свело,
и музыка глаза не просветлила.

И горькое средьзимнее тепло
меня в сугробы мокрые ввинтило.
У радостного Моцарта – светило,
у горестного Моцарта – крыло.

Им все равно обоим не везло.
Треши, ветрило, и плечи, весло.

Światła i świata piękności,
света и мира красоты,
капельки легкой росы,
вас помянуть бы не к ночи.

Чтобы не светлыми сны,
чтобы не ясными зори,
чтоб и во сне — о позоре
мртвородающей весны.

Ю. Галанскову

В сумасшедшем доме
выломай ладони,
в стенку белый лоб,
как лицо в сугроб.

Там во тьму насилья,
ликом весела,
падает Россия,
словно в зеркала.

Для ее для сына —
дозу стеллазина.
Для нее самой —
потемский конвой.

Ты – горе мое. Ну, горе мое, засмейся.
Веревочки вьет из меня туманный месяц.

Но все не о том, да нет, не о том глотаю слезы,
хватаю, как рыба, белым ртом холодный весенний
воздух.

Ну, горе мое, улыбнись, проскачи по той дорожке,
где исступленный дятел стучит
да теремок замшелый торчит
на курьей ножке.

СУХАНОВО

Безлиственная легкость
пустых апрельских рош,
зеленый мох, прозрачный
ручей, холодный хвощ.

Беспамятная легкость
как сном размытых слов,
прозрачный день, зеленый
осинник в сто стволов.

Реки изгиб холодный,
и в дальнем далеке
скрипит прозрачный ветер
в румянном ивняке.

Здесь, как с полотен, жжется желтый полдень,
и самый воздух, как печаль, бесплотен,
и в полной тишине летучим войском
висят вороны в парке воронцовском.

Но ветхая листва из лет запрошлых
к моим локтям цепляется, к ладошкам
прокуренным, и в спутанные кудри
пустой кустарник запускает руки.

Я так далёко отошла от дома,
как самолетик от аэродрома
в густом тумане в темень отплывая. . .
Жива, мертва, листва или трава я? . .

Афродита, белая пена с плеч,
как росток изогнутый, в небо ткнись,
то ли грязный помазок, то ли плеть,
просыхает ботичеллиева кисть.

Мастер подкошенный от холста
отошел и взглядывает тяжело,
Афродита, мокрые волосы
провисают, как Эротово крыло.

Афродита, облачко, в наш век
залетишь ли из его худых рук,
краски капелька, вниз-вверх,
полоса – складка, грудь – круг.

А это не жизнь и не площадь,
а просто пустой балаган,
сопит в загородочке лошадь,
сквозит холодок по ногам.

И спущены флаги снаружи,
трапеции сняты внутри,
желтеют и кружатся стружки,
тускнея дрожат фонари.

Так сматывайте веревки
и шаткий грузите фургон,
до самой последней ночевки
остался один перегон.

Д. Борисову

Смахни со щек блаженство полусна
и разомкни глаза до в веках боли,
больницы грязнота и белизна —
как добровольный флаг твоей неволи.

Больницы пустота и теснота,
закрой, замкни глаза до боли в щеках,
смахни улыбку с вытертого рта,
но удержи напрасный в горле клекот.

Больницы полутьма и полусвет,
и твой сосед, с закрытыми глазами,
незримо проклиная белый свет,
неслышно заливается слезами.

**В моем родном двадцатом веке,
где мертвых больше, чем гробов,
моя несчастная, навеки
неразделенная любовь**

**среди этих гойевских картинок
смешна, тревожна и слаба,
как после свиста реактивных
иерихонская труба.**

ШЕСТИСТИШИЯ

1

А день зацепился за тень
от дерева и не уходит,
шевелится ржавым железом,
последним лучом голосит,
и тихое эхо за лесом,
как на небе солнце, висит.

2

О счастья, как о прохладе,
а город с утра лихорадит,
асфальт под ногами плывет,
а тот, что мне волосы гладит
горячей рукой, безотраден,
как марево. . .

3

Я строю, строю, строю,
но все не Рим, а Трою,
и Шлиман на холме,
с лопатой и с лоханью,
дрожа от ожиданья,
сидит лицом ко мне.

4

Прощай! — и сама удивлюсь,
как ясно и холодно станет,
как дождь моросить перестанет.
Прощай! — словно ковшик прольюсь
в широкую чистую реку,
в глубокую тихую Лету.

Горсточку воды
в форточку плесну,
мокрые следы
к нецветному сну,

легких горемык
одинокий сон,
вдруг ужасный крик
изо всех окон,

изо всех дверей
печи, на конях,
девушка, еврей,
конюх и монах,

мальчик на осле,
клоун колесом,
и по всей земле
прерван тихий сон,

и со всех сторон,
изо всех окон,
как последний стон,
благовеста звон.

Изо всех окон
благовеста глас,
и со всех икон
выцветает Спас,

попроси, проси:
"Господи, спаси,
на святой Руси
мимо пронеси!"

Но иконный лик
изо всех ворот,
словно восьмерик
на восемь сторон,

словно четверик
на восьмерике,
где безглавый крик
на одном крюке,

где везде окрест
с четырех сторон
на незримый крест
карканье ворон.

Крест-то кто-то сдал
на металлолом,
стал его металл
скошенным крылом,

белый бомбовоз
над землей кружит,
а земля без слез,
тихонько дрожит,

а земля без слез,
как побитый пес,
а по ней враскос
тьень его колес.

Что вам нелегко?
Просто Страшный Суд,
просто никого
больше не спасут,

тень его хвоста,
круче высота,
нет на вас креста,
и земля пуста.

Ветер свысока,
с напряженных скул,
горсточку песка
в форточку плеснул.

**. . . и теплых желтых звезд мимозы
до лета нам не сохранить.**

**И Ленинградского вокзала
привычно резкая тоска,
как звон сухого тростника
среди сыпучего песка.**

Под дождь, как под душ для души,
плащмя и навзничь и ниц,
уйми эту дрожь, не дрожи,
не дрогни концами ресниц,
замри, не дыши, но в душе
протяжное что-то пропой,
и дождик по крыше уже
стеклянною нотной строкой,
звериной тропюю ночной,
замри, не дыши, пережди,
покудова тот проливной
до доньшка не пережит,
не прожит ни ливень, ни свет
внезапный в разрыв облаков,
ни вдоль луж след
дрожащих моих каблуков.

**Наревешься, наплачешься вволю
на зеленой траве
и опять возвращайся в неволю
с глухотой в голове.**

**Наревешься, наплачешься, горьких
наглотаешься слез,
на крутых укатаешься горках
в лопухи под откос.**

**И опять возвращайся. Доколе ж
все туда да туда ж?
Все ладони в колючки исколешь —
и востри карандаш.**

**Накарябай строку, нацарапай
на запястьи своем
да травинку кровинкой закапай
за рабочим столом.**

Вот, назначай свиданья в декабре,
когда и губы зябнут по морозу,
но как же со стихов сойти на прозу
и тягу тела как преодолеть?

Холодные колонны обхожу,
простудные стоянки объезжаю,
проезжих и прохожих обижаю,
а места на земле не нахожу.

Подземным переходом поскорей,
но от себя не убежишь далёко,
спи, ласточка, осколком перелета,
ледышкой на асфальтовой скале.

Вот я больна, в жару, в поту малинном,
вот о тебе в бреде проговорюсь,
вот о желанном, вот о нелюбимом,
о милом и немиллом, провалюсь
в такую преисподню бессознания,
где только тело тяжким языком
ворочает, а бедное создание
душа сидит в темнице под замком.

И там-то, в глубине, во тьме, в теснине,
ты промаячишь, как мираж в пустыне,
и голос мой негромкий покричит,
поκληчет. . . Горяча к щеке подушка,
сплошному полдню полыхает пушка,
и горло глохнет, и в глазах горчит.

АНГЕЛ ДЕРЕВЯННЫЙ

1967

Если день — это день, то огонь
лишь огарочек оплывающий,
холодей, моя белая ладонь,
замерзай о потерянной варежке.

Если день — это ночь, то с тобой,
если это навек, то не надолго,
угасай, огонек голубой,
мне сугроб на пути — это надолба.

И другу дорога за то, что
зарифмовала бедный мир,
что город, сношенный до дыр,
косыми строчками заштопан,

что ширь заснеженных полей,
как заячьими стежками,
моими редкими стишками
прошита. Милый, пожалей,

люби меня за так за просто,
не понимай и не цени,
на грудь припасть, пропасть в тени,
проснуться – крохотная горстка

во прах рассыпавшихся крыл
в трубу печную пролетает,
Снегурка тает, тает, тает. . .
. . . И тихо форточку прикрыл.

Есть музыка, а больше ни черта —
ни счастья, ни покоя и ни воли,
во всем остекленелом море боли
лишь музыка — спасенье, чур-чура.

Да, чур-чура, на час, на полтора,
когда ни завтра нету, ни вчера,
среди зимы про золотое лето
свистит лесною иволгою флейта.

Но краткому забвению конец,
смолкает человеческий птенец,
и снова в пустоту, в метель, во мглу,
всё босиком по битому стеклу.

Звезда с небес и сладостный сонет —
тебя уже ничто не обморочит,
и ты проговоришь "Покойной ночи",
а молча прокричишь "Покоя нет".

СОНАТНЫЙ ВЕЧЕР

В. Ашкенази

Зеленое марево мая,
пробей в фортепьянах дыру,
Шестая, Седьмая, Восьмая
заходят ко мне в конуру.

Моя неизменная память
их вечно приводит втроем,
густое зеленое пламя,
как море в изгнаньи твоём.

Ах, марево майское в окна,
зеленою хмарою мокрой
дыми и глаза застилай.
Покудова рук не сломаю —
Шестая, Седьмая, Восьмая,
по крышке, по крышке стола.

**Что навсегда? Что значит навсегда?
В часах античных капает вода,
в других пересыпается песок,
а мой будильник целится в висок**

**и пробудит – уж это навсегда –
от краткого, раскрашенного сна
меня, тебя и каждого, мой друг,
для вечности, для новых, вечных мук.**

Страстная, намотрись на демонстрантов.
Ах, в монастырские колокола
не прозвонить. Среди толпы бесстрастной
и след пустой поземка замела.

.....
.....

А тот, в плаще, в цепях, склонивши кудри,
неужто все про свой "жестокый век"?

БЕЛЯЕВО-БОГОРОДСКОЕ

Окраина, столица сквозняков,
где вой волков моей любви вторит,
где только снег в снегу тропинку торит,
где в дверь звонок длинён, как звон оков,
где звонок смех, как шелканье подков,
а слезы горячи, легки и горьки,
а горечь их, как санки с белой горки,
скатилась и просохла на щеках. . .
Столица слез и снов на сквозняках.

Засмейся, негораемая плоть,
захохочи, летя в костер купальский,
души моей сияющий оплот,
отрада этой полночи прекрасной.

А кружево безлунных облаков —
прекрасной этой полночи ограда,
и узелок заплаканных платков
повешен на ворота Цареграда.

Лети, лети, за облаки, за тень
волны морской, за отраженье тени
костра. . . Сестра, все небо облететь!
Мои крыла, как листья, облетели.

Как вешняя лыжня,
вчерашним днем поранен,
вдоль долгого дождя
раскачивай фонарик.

И сам качайся вдоль
промокшего сугроба,
уверовав в любовь,
в любовь, любовь до гроба.

Опять собирается вещий Олег
продлить усеченный кудесником век,
себя от коня отрывая.
Но снова заплачет над черепом князь,
и выползет снова, шипя и смеясь,
змея между тем гробовая.

Так будь ты сторук и стоуст и столик,
а встретится лживый, безумный старик —
не спрашивай, право, не стоит.
Все косточки в горсточке Господа спят,
ковши круговые запенья шипят
и шипу змеинному вторят.

Волхонка пахнет скошенной травой,
словно Ван-Гог прошелся по пригорку,
а граф Румянцев, скинув треуголку,
помахивает вверх по Моховой,

помахивает вострою косой,
покачивает острою косичкой,
но пропорхни по тротуару спичкой —
и полыхнет Волхонка полосой,

потянется от скверов и садов
чистейшая, душистейшая копоть,
и лопаться начнут, в ладоши хлопать
камни обоих Каменных мостов,

А мне, посреде пустынной мостовой
сгибая и распахивая локоть,
по Моховой, по мху сухому плакать,
поплачь, поплачь, как тетерев-косач,
скоси глаза, уставься в небеса,
не уставай, коси, не остывай,

сухою и горячею травой
пропахла кособокая Волхонка,
а город тих, как тихнет барахолка,
когда по ней проходит поставой.

И горы глухи, и долины дики,
туманный смутен мост,
и вбиты в небо белые гвоздики
рассветных звезд.

И на краю земли
в окне кружится занавеска,
как весточка о лете, как повестка
на сборы земляник.

И алы пятнышки на белой коже
моей щеки
просохнут на полуденной жаре.
И сумерки взойдут из-за горы,
белесы и легки,
как впльвшие в туман грузовики.

Как падает затравленный олень,
сминая окровавленные травы,
так загнанный несется к ночи день,
слепой беглец в объятия расправы.

О времена, о нравы! И она,
среди смертей, среди пустых бессмертий,
в безумьи забывая имена,
о Гамлете ли бредит, о Лаэрте ль. . .

Проклятье! Счастье! Пишутся!
Слова, как горы, движутся,
а я, как мотылек,
летаю между строк.

Вчера ль еще, на подступах,
в неверьи и в тоске,
металась я, немотствуя,
как рыба на песке.

А нынче каждый ручеек
болтает, как щегол,
течет река, и речь ее —
как щекот за щекой.

И в слабом женском горлышке
(Щегол! Кукушка! Скворушка!)
гуляет между строк
вселенной ветерок.

Милый, милый, удивленный,
вижу, вижу: над тобой
с деревянной трубой
ангел деревянный.

Он трубит, но глух и тих
голос дерева сухого,
и неслышно слуху слово
с пересохших губ твоих.

За стеной в застенке тонким
стоном вспыхнул трубный глас,
ангел вспыхнул и погас,
уголь в угол, да и только.

Сохнет, сохнет трубный глас,
сохнут слезы возле глаз.
Дождь по веточке зеленой,
ангел гаснет удивленный.

И жить не хочется, и чувствовать невмочь,
и нету сил страстям и сожаленьям,
и даже ночь щемящим наслажденьем
меня, свою безрадостную дочь,
не воротит и не привяжет к жизни.
Вчерашний день, прощай, и ты прощай,
день завтрашний. . . И в чьей еще отчизне
так мягко выстрел в отворот плаща. . .

Горстку снега протяни,
я ладонь тебе целую,
никому про эти дни,
и не плачу, не тоскую.

По сугробам снегири,
как теплы твои ресницы,
горстку снега подари,
по осиннику синицы.

По осеннему снежку
частокол короткой травки,
я сама себя сожгу
в горстке снега.

**СТИХИ, НЕ СОБРАННЫЕ
В КНИГИ**

Прощай, прощай, прощай,
всегда меня прощай
за то, что не могу
сказать тебе "прощай",

за то, что не могу
запнуться на бегу,
и охнуть, и вздохнуть,
и вслед платком взмахнуть.

Не охну, не очнусь,
не вспомню, какова
на ощупь и на вкус
высокая трава.

1968

Я с тобою тихо-тихо
тихо-тихо говорю
и уже не понимаю,
таю я или горю.

Верно, я — что свечка, свечка,
что и тает, и горит,
тьму локтями раздвигает
и тебя теплом дарит.

Не вздыхай же в этом слабом,
вздрагивающем кольце,
растопи свои печали
в моем тающем лице.

1969

Хоть на день, хоть на час,
хоть на полчаса. . .
Помнишь, как началась? —
и не кончится

эта острая страсть
безответная,
эта власть надо мной, власть
твоя ветренная.

Что же настужь, навзрыд
дверь балконная?
Не убит, не зарыт —
бью поклоны я.

Но на день, но на час,
на мгновение,
на ресниц возле глаз
мановение.

1969

Глухого дерева листва
стволу не дозвонится,
с крутого берега Москва
сама себе приснится.

А ты – который видишь сон
в разрыве скал, в разливе
звезд, крупных, как сухая соль
в заиленном заливе.

В заливе звезд, в разливе рек,
в глухом разрыве сердца
всплывает сон, как из-под век
глядеть – не наглядеться

всплывает солнце. Исподволь
заря приснится веку.
Соль на губах, на веках соль,
и ветер клонит ветку.

1969

Еще не знавшие значенья,
еще бесцветны и сухи,
в порыве самоотреченья
уже прощаются стихи,

и, недоношенной ладошкой
с порога пропасти маша,
пока склоняется над ложкой
твоя бессмертная душа,

с порога пропасти зеленой,
у самой бездны на краю
они ни сладкой, ни соленой
слезы с тобою не прольют,

но в пропасть с приглушенным плеском
скользнут, сознание ослепя,
пока ты бродишь по перелескам,
пока разыскиваешь себя.

1969

Свет мой ясный, нынче полночь,
нынче так же, как вчера,
и поешь, как поле полешь,
горло роешь дочерна,

потому что полночь нынче —
точно ручеек чернил,
потому что голос нищий
точно кто-то очинил,

потому что песнопенье,
точно пенье первых птиц,
заострившеюся тенью
ляжет между двух ключиц,

потому что свет мой ясный —
это только ты один,
потому что петь и плакать —
это вечный мой удел.

1969

А на моих часах,
как и тогда, светает,
в просторных парусах
дыханье расцветает,

и новый день похож
в тиши несокрушимой
на солнечную дрожь
раскрывшихся кувшинок.

Но руку протяни,
но шаг шагни за стены —
там за стеной в тени
шныряют чьи-то тени,

там водит темнота
тьму за руку и темень,
там ночь растянута
и непроглядно время,

зияет небосвод,
колодезь книзу тянет,
из камышовых вод
там и заря не встанет,

и это там и тут
уже неразличимы,
уже и тут не жгут
ни свечки, ни лучины,

и совы, сея страх,
и там, и тут взлетают. . .
Но на моих часах,
представь себе, светает.

1969

Ужаленный сходством
с вечною пчелой,
вылей в улей мед свой
водою ключевой,

выплачь все величье
черного труда
и головку птичью
поверни туда,

где на горном склоне,
впитывая свет,
словно на ладони,
тает плотный снег.

1969

ТЮРЕМНЫЕ СТИХИ

Любовь моя, в каком краю
– уже тебя не узнаю –
какие травы собираешь?
И по бревну через ручей,
сложивши крылышки, на чей
призыв навстречу выбегаешь?

Твоя забытая сестра
не на ветру, не у костра –
в глухой тюрьме заводит песню
и, тоже крылышки сложив,
щемящий оборвет мотив,
когда уйдет этап на Пресню.

январь 1970

Бутырская тюрьма, следственная камера

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЯРВАЛКЕ

На черном блюдечке залива
едва мерцает маячок,
и сплю на берегу залива
я, одинокий пешеход.
Еще заря не озарила
моих оледенелых щек,
еще судьба не прозвонила. . .
Ореховою шелухой
еще похрустывает гравий,
еще мне воля и покой
прощальных маршей не сыграли,
и волны сонно льнут к песку,
как я щекою к рюкзаку
на смутном берегу залива.

март 1970
Институт Сербского

Какая безлунной, бессолнечной ночью тоска
подступает,
но храм Покрова за мою спину крыла распускает,
и к белому лбу прислоняется белое Лобное место,
и кто-то в слезах улыбнулся — тебе ль, над тобой,
неизвестно.

Наполнивши временем имя, как ковшик водой на
пожаре,
пожалуй что ты угадаешь, о ком же деревья дрожали,
о ком? — но смеяь, но тоскуя, однако отгадку
припомня,
начерпаешь полную горстью и мрака, и ливня, и полдня,
и звездного неба. . . Какая тоска по решеткам шныряет,
как будто на темные тесные скалы скорлупку
швыряет,
и кормщик погиб, и пловец, а певец — это ты или
кто-то?
Летят, облетят, разлетелись по ветру листки из
блокнота.

*осень 1968 – весна 1970
начато на воле, закончено в Институте Сербского*

В продолжение долгих недель
то ли оттепель, то ли метель
заплетала метелками ветлы,
залепляла туманные стекла.

Загляни, коль печали придут,
в неприветливо-утлый приют,
где оттаявшее поленце
не пленяет надеждой погреться.

Раздели этот холод со мной,
этот жар оболочки земной,
дуновение и дыханье,
спички краткое полыханье.

Разожги этот меркнувший свет,
слабый отсвет растаявших лет,
слабый привкус вчерашнего рая,
на ветру и навеки сгорая.

июнь 1970

Бутырская тюрьма, больничка

Вздохнет, всплакнет валторна злектрички,
недостижимый миф.

По решке проскользнет сиянье спички,
весь мир на миг затмив.

Вспорхнет и в ночь уносится валторна.
Пути перелистать,
как ноты. О дождливая платформа,
как до тебя достать?

Пустынная, бессонная, пустая,
пустая без меня,
и клочья туч на твой бетон слетают,
как будто письма,мена,

и, хвостиками, точками, крючками
чертя по лужам след,
звонят они скрипичными ключами
ушедшей вслед.

июль – сентябрь 1970
Бутырская тюрьма, больничка

Ручей не расцветает,
и не поет форель.
А кто не так считает,
повис на фонаре.

А кто считает звезды,
повисшие в ручье,
уж тот совсем не создан
для жизни. Да зачем,

зачем он их считает?
Петля ему, петля.
Уж воронье слетает.
Прими его, земля.

Он и других погубит,
зарой его скорей!

.....

Но не смолкает солнечный Шуберт,
в ручье золотая поет форель.

сентябрь 1970

Бутырская тюрьма, больничка

А завтра здесь не сыщешь и следа
от тени, что вдоль стен за мной скользила.
Я улыбаюсь, горькая слеза,
как льдинка, на зрачке моем застыла.

Как в домике игрушечном слюда
не позволяет глянуть сквозь оконце,
так ничего нельзя прочесть с лица,
в котором прежний день уже окончен,

а новый загорится не теперь,
и след слезы не слышен и не виден,
и лишь метель раскачивает дверь,
в которую мы все когда-то выйдем.

январь 1971

*Бутырская тюрьма, больничка, накануне
отправки в Казань*

О зим российских лютые морозы,
о мой опустошенный пьедестал!
Коленки скорча, в неудобстве позы
тепла ищу, обломок южных скал.

Пигмалион не любит Галатею,
его пленяет чей-то легкий смех,
а я в бессильной ярости немею,
в разбитый нос вдыхая мерзлый снег.

февраль 1971
Казань

Возьми разбег и с полдороги
не воротись, не поверни.
Какие горькие тревоги.
Какие солнечные дни.

Какое небо! Листопадом
не захлебнись в разливе рощ,
последним юношеским взглядом
не согласишься, что мир хорош.

В полете легкого движенья,
в тени осенней тишины
да не сойдет успокоенье
в твои видения и сны.

октябрь 1971
Казань

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1972

Как вольно дышит Вильно по холмам —
как я после последнего объятия.
Но почему задернуты распятья?
И почему расстаться надо нам?

Под пеленою пыли дождевой,
под мартовскою снежною завесой
ответит голос за рекой, за лесом,
за Польшею и, значит, за Литвой.

Откликнется и скажет, почему,
и скажет: Ни к чему твой плач ему.
И зтот тихий голос на горе —
как дрожь души на утренней заре.

Страдания, страсти, радости и страх
в одних и тех же углятся кострах.

Когда положишь руку на огонь,
уже не выговоришь: Нет, не тронь.

И тянется безжалостный апрель,
где не цветут ни мята, ни кипрей,

где только прошлогодняя трава
да голые пустые деревья.

И на любом — чей ни возьми — костре
поленья обгорают не быстрее,

чем отгорают страсти бледный чад,
чем тот огонь, что, не родясь, зачах.

Засыпают чьи-то сны.
На плечо ко мне садится,
как таинственная птица,
отголосок тишины.

Оловянный лепесток
тихо вылетел из сада,
где не заперта ограда,
где ворота на восток,

где по стоптанной траве,
по дорожкам и лужайкам
ходят все, кому не жалко,
все, кто с ветром в голове.

Но тебя не встречу там,
там, где тополь ветви свесил,
там, где в полдень, тих и светел,
ветер веет по цветам.

Не зови меня никем и ничем,
лучше руку протяни в пустоту,
лучше ночью на бревенчатом мосту
опусти мое имя в ручей.

Пусть, омытое проточной водой,
уплывет оно к холодным морям,
а холодные моря, говорят,
солью пахнут, а не нашей бедой.

Какие гулкие звучанья
в твоих несказанных словах,
и я гляжу, гляжу печально,
как пепел обратится в прах.

Какие четкие значенья
в твоём запутанном лице,
как на краю зари вечерней,
как на узорчатом крыльце.

Какая слава нам с тобою
сияет в сумеречной мгле,
как будто небо голубое
навек забыло путь к земле.

И ты забыл — но ты припомнишь
ко мне кратчайший путь, ко мне,
и ту мучительную полночь,
и свечку на своем окне.

Памяти Э. Б.

Хочу надеяться, что там,
где не шелохнется ветрило,
твоей любви к моим стихам
ничто в ничто не обратило.

И, в тверди тех небес витая
с моей строкой непозабывтой,
ты, грешница моя святая,
пред всею тамошней орбитой

как раз грехи мои отмолишь
и прах с души моей отмоешь,
чтобы и я — но в свой черед —
достигла призрачных высот.

**СОЛНЦЕ – НА ЛЕТО,
ЗИМА – НА МОРОЗ**

август 1972 – январь 1973

Протяжная вечерняя трава,
прижми лицо к лицу и стебель к стеблю,
над степью
предвестие зимы виденьем Покрова.

Заря звезды висит, как будто в петлю
продела голову, кровавы дерева,
но первая роса по-прежнему права,
но лик земли с заоблачностью сцеплен.

А белый чад, застлавший горизонт,
болота иссушенного исчадь,
какое он еще сулит несчастье,
любви погибель, городу разгром,
или в пыли дорожной легкий след
сотрет навеки, до скончанья лет?

Но что на этом темном этаже,
где даже лифт боится задержаться,
что там за дверью, в глубине, в душе,
где даже пятна света не ложатся,

где капелька по капельке течет
ночная тишина и поволока,
где проволока тонкая сечет,
едва коснешься звездного порога,

где повилика вьется по стене,
холодная и влажная на ошупь,
и палевых ресниц не видно мне,
и не проникнет голос твой извне.
Площадка этажа пуста, как площадь,
как площадь в некончающемся сне.

Не выплыву, не доплыву.
На облаках, как наяву,
роняют чайки плач в Неву,
и этот сизый хрип,
и эти капельки свинца,
где нет ни смерти, ни конца,
где целят в бедные сердца,
но не достанут их.

Когда высокая роса
печаль возносит в небеса,
когда осталось полчаса
до солнечных ворот,
на тинистом холодном дне,
в зеленой вязкой глубине
воронку прокрутил во мне
крутой водоворот.

Я ж знала, что не может быть,
что не дана мне ваша прить,
что мне не выплыть, не доплыть,
я же сказала вам!
Но, как болванчик неживой,
вы покачали головой,
и я мелькнула над Невой,
и я осталась там.

Всплывают ловкие пловцы,
любви легкие ловцы,
срезают пену с волн – с овцы
так состригают пух.
В последней жалкой нагоде,
не на кресте, не на гвозде,
полу в песке, полу в воде –
чей взор навек потух.

На вечной сцене,
на сцене века
не гаснут огни.
Два человека,
четыре тени,
мы не одни.

Бросает в дрожь
закулисный холод,
нездешний сквозняк,
и мир расколот,
раздет, разъят,
ни на что не похож.

Тянуть напрасно
ладонь к ладони,
пустота густа.
У смерти в лоне
рождается та,
что жизнью зовется прекрасной.

Кто бросает веревку
в вечную бездну колодца,
где укололась о веретенце
осиротелая паха?
Камень пробьет воронку
и вызовет долгие кольца,
и отразится солнце,
холодное, словно плаха.

Штихелем вырыто
в медной доске,
отпечатано
в сто листов
все, что выла ты,
лежа в песке,
вся печаль твоя,
весь твой стон —

и тихая пауза
между двумя
молчаниями. . .
И лодка парусная
глядит на меня,
отчаливая.

Т. Борисовой

Что там за шорох?
Это шоссе обо мне скучает.

Что там за шелест?
Это ветер осину качает.

Это в Апшущиемсе
шепчутся волны залива.

Это небо над Балтикой
ждет моих глаз,
чтобы дождь со слезами смешался.

Москва моя, дощечка восковая,
стихи идут по первому снежку,
тоска моя, которой не скрываю,
но не приставлю к бледному виску.

И проступают водяные знаки,
и просыхает ото слез листок,
и что ни ночь уходят вагонзаки
с Казанского вокзала на восток.

Всё о любви, всё только о любви
безумные клокочут соловьи,
лови, лови пронзительные трели!
В апреле предпоследняя метель
на всех ветрах стелила нам постель,
а пух и перья, как в погром, летели.

Но к соловьям уже взошла трава,
и между нами пролегли слова,
как пресловутый обоюдоострый
тот сказочный и тот реальный меч,
и не в траву теперь, а в землю лечь. . .
Но летний луг — не чересчур ли пестрый

наряд для тех, кто тихо метит в гроб?
Не чересчур ли громок летний гром,
и похоронный марш за ним не слышен.
И жажда жить страшней страстей иных,
и соловей, ударенный под дых,
не только о любви отныне свищет.

Мы меняемся день ото дня
и, на шаг от себя отойдя,
зеркала протираем несмело,
и, стеклянной касаясь черты,
уходящие ловим черты. . .
Только ты неизменна, измена.

Только ты, изумительный змей,
в тех извечных изгибах ветвей
извиваешься жалом измятым,
и встает у тебя за плечом
ангел огненный, ангел с мечом,
с автоматом.

Сон – это сонная, вязкая река,
где в водорослях вёсла не легки и не звонки,
это пажеская рука
на груди королевы-самозванки,

это – когда он невесом,
неуловим, недоступен,
а твои ступни налиты свинцом
и твой путь, как сон, спутан.

И, спутавшись, не знаешь, то ли сбилась с пути,
то ли просто спуталась с кем-то,
кто и хотел бы тебя спасти,
да сбивается с темпа

и не попадает сон в сон,
и не совпадают своды,
и повисает несведенным мостом
бессмысленная сень одинокой свободы.

ДОЖДИ, И ЗАСУХА,
И НОВЫЕ ДОЖДИ

февраль – декабрь 1973

Габриэлю Суперфину

В аквариум света вплывешь поплывешь близорукою
тенью
и влажной рукой проведешь по границе незримой
задернешь завесу и горько предамся и тьме и смятенью
пронзая рыданьем родимый пейзаж полужимний

Раскатаны полосы черного льда на промокших аллеях
алеют полоски зари в бахrome абажура
скамеечка скользкая слезная полночь немолчная
флейта
все дергает за душу как за кольцо парашюта

И к этим до дна замороженным и до горячки
простывшим
впотьмах распростертым убогим моим Патриаршим
прильну и приникну примерзну притихну поймешь ли
простишь ли
сбегая ко мне по торжественным лестничным маршам

На воде, все равно что нигде,
я пишу спотыкаясь и наспех
и не глядя, остался ли след,
и не помня о колком дожде
и о том, что на белых запястьях
защелкнётся прощальный браслет.

Я пишу, ваше дело -- прочесть
или мимо проплыть на байдарке
и другие подарки
моим предпочесть,
что мне слава, что честь,
все равно что гашеные марки.

Я сама
никому не отправлю письма,
никому
не пошлю телеграмму во тьму.

Приснись под утро лестничка,
не весть, хотя бы весточка,
хотя б нивесть о чем.
Но издалёка, с вечера,
все сны твои засвечены
негаснущим лучом.

И ты, из зоны в зону грез
замысливший побег,
что́ над тобою произнес
твой просвещенный век!
И чем сегодня он сверлит
покой дрожащих век?
Тебя и ночь не веселит,
не осушает слез.

Но сквозь – но сквозь бессонницу,
сквозь узкую оконницу
дано тебе пробресть,
чтоб, на решетке распятым,
увидеть в небе аспидном
не весточку, но Весть.

Сотру со лба соленый след работы.
Слепа, и слепну, слов не нахожу.
Да не судимы... Я и не сужу,
но вам бы наши, ваши нам заботы.

А балагур гоняет анекдоты
и ходит по смертельному ножу,
а я в кулак сожмусь и удержу
и хохот, и рыданье до икоты.

Глухая и незрячая толпа,
как тяжесть атмосферного столба,
но толща океана тяжелее.

Во всю свою недолгую длину
я как моллюск, придавленный ко дну,
и все еще о ком-то сожалею.

Когда, коснувшись утренней звезды,
зажгутся белым пламенем сады,
где нет тебя, и нет, и не бывало,
когда кругом ты станешь неправа,
когда сорвутся с горьких губ слова,
но не слова, а смутный гул обвала,

когда в дрожащем зеркале реки
ты отразишь, но не свои, зрачки
и, как в разлуку, погрузишься в омут,
когда простишь и другу, и врагу,
всем, кто на этом замер берегу
и кто стремится к берегу другому,

когда, как на бегу, печаль стряхнешь,
когда придешь к тому, кто не похож,
кто не стоял у твоего порога,
тогда, но нет, еще и не тогда,
и что тогда? Затягивает мгла
грядущее. . .

Когда, доставши до звезды,
зажгутся белые сады,
где нет тебя и не бывало,
когда кругом ты не права,
когда сорвутся с губ слова,
но не слова, а гул обвала,

когда — но не свои — зрачки
в дрожащем зеркале реки
ты отразишь и канешь в омут,
прощая другу и врагу,
всем, кто на этом берегу
и кто отплыл уже к другому,

когда печаль с плеча стряхнешь,
придешь к тому, кто не похож,
кто не стоял под этой дверью,
тогда, но что же, что тогда?
Бог весть, затягивает мгла
грядущее. . .

Между явью и сном,
между боем кукушки
и стуком машинки
на пруду жестяном
жестяные кувшинки.

За китайской стеной
ты скончаешься там же, где зачат,
где мишени кружок жестяной
или солнечный зайчик.

Где качается лист
театрального грома,
где ты дома
и где ты не дома,
где твой путь, как и прежде, кремнист.

И знойно, и пыльно, и пух тополиный
ложится удушливой пухлой периной
на горло, на год и на город.
И полузадушенный, полуразбитый
над высохшим руслом иссохшей ракитой
и алчет и жаждет мой голос.

Спешу насладиться касательной негой слепого дождя,
покуда не сохлась земля и не высохло небо,
покуда бегут в берегах полноводны Нева и Онега
и порох подмокший не стронулся с ложа ружья.

Засуха, злая мачеха
угасающего лепестка,
запах востока в пыли одуванчика,
плоские волны песка.

Засветло зачитайте, что значит
на скрижали, свисающей свысока. . .
Мать честная, заступница-троеручица,
смой засохшую кровь с виска.

Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом,
это я, это я, и вине моей нет искупленья,
будет наглухо заперт и проклят да будет мой дом,
дом зла, дом греха, дом обмана и дом преступленья.

И, прикована вечной незримою цепью к нему,
я усладу найду и отраду найду в этом страшном дому,
в закопченном углу, где темно, и пьяно, и убого,
где живет мой народ без вины и без Господа Бога.

Всё. С концами. Не в этой жизни
островной
повстречаешься въяве и вживе
ты со мной,
только парус кружит и пружинит
над волной
Ахерона.

Раскачайся, ладья,
на стигийской воде,
вот и я в ладье
отплываю в нигде,
только парус дрожит
и скрипит ненадежная пристань.

Оттолкнись
от занозящих душу досок,
размахнись,
под весло примеряя висок,
и, с подошв отрясая песок,
наклонись —
но привстань,
оглянись —
но оставь
этот остров и этот острог.

В ладоши ладожские льдины
хлопочет юная Нева,
дитя Удела и Ундины
и всех удильщиков вдова.

Слезой сладкой солодимы
апрельские как лед слова,
где ни конца, ни середины,
и всё мольба или молва.

Под пол-куплета, пол-припева,
восток направо, запад влево,
когда линяет всякий зверь,
приотвори и выглянь в дверь,
не верь, не верь поэту, дева,
но и сама себе не верь.

В исследовании селедочной головки
голландцев, голытьба, общеголял кубист,
клубы махры, кошмары голодовки,
съестно пропахли клейстером листовки
со списками предутренних убийств.

Такого не придумаете в бреду,
в буржуйке жги Брокгауз бестолковый,
предупреди: "Заутра не приду",
пожни свою судьбу и череду,
как в очередь за воблюю пайковой.

В о т эти годы, голода и годы
(угодливая память – помело),
мелометелью, и заря свободы,
оскалив зубы, возводила своды,
где духу туго, плоти не тепло.

Спи, кузнечиков хор!
Лес восходит на холм.
Бес проехал верхом.
Я не верю стихам.

Ложь, мелодия, сон.
Звон глагола времен.
Смех, признание, стон.
Что за жребий мне дан!

Слов не выпить с горсти.
Строк в тюрьму не снести.
Ни согреть, ни спасти
от властей и страстей.

Тронь струну – вся в крови.
Трень да брень оборви.
СВЕТ И СЛОВО ЛЮБВИ.
Спи, кузнечиков хор.

НАУКА РАССТАВАНЬЯ

март – июль 1974

Это голос мой, голос мой — или
слабый рокот на ранней заре?
Но милей мне межзвездной медлительной пыли
эта пыль тополей во дворе,

этот сгорбленный, кривоарбатский
сонный запах запрошлых лет,
летний день, летний город, почти азиатский,
летний вечер и летний рассвет.

Пейзаж — как страж в дверях моей души,
все, все отдашь — карандаши и перья,
любовь, надежду, веру и доверье,
как тот, что за шепотку анаши
не то что кошелек, а наизнанку
себя сейчас же вывернуть готов.
А весь пейзаж — чета кривых крестов
да серый мужичок, что спозаранку
на драный кров накладывает drankу.

”НОВАЯ ВОЛНА”

Фрегат обрастает ракушками и побрякушками
и целится в пусто давно проржавевшими пушками,
бессмертные души на суше сухими лежат завитушками,
и мы говорим: — Бедный высохший выцветший

бледный коралл!

В протяжных лучах своего на песке отражения
исчахла висячая лампочка в полнапряжения
в сознаний не бега по кругу, но вечного бездвижения,
которым когда-то как будто Коперник ее покарал.

Так что же, мой до смерти друг, позапозавчерашний
возлюбленный,
густой сухостой на ноже оставляет зазубрины,
за дюной таетя и тает костер, и дымок

подголубленный

лазоревым облачком, обликом юга колеблет
балтийский свинец.

Послушай, не слушай ничьих, ни моих уговоров,
ни плача и право же —
не слушай, как ветер вцепился в сосенок колючие

клавиши,

не слушай, навеки натянем купальные шапочки на уши,
нырнем под волну и, как щепки, взлетим над волною,
и кто мы, когда начинают стихии творенье иное,
и как добрести среди соли, песка и неожиданного зноя
до синей полоски, где сходятся с хлябью земною
небесные тверди, до хлопанья кресел на титре ”Конец”.

Как циферблат, неумолим закат,
пылая, розовея и бледнея.
Последний луч, последняя надея,
а дальше тьма, разлука и распад.

Не лучше ли проспать последний луч,
не записать навязчивую строчку
и ни на чьем плече, а в одиночку,
в кольце клубящихся летящих тяжких туч

в кольцо луны, как в потные очки,
уставить равнодушные глазницы
и не гадать, приснилось или снится,
что зренье — там, а тут — одни зрачки.

СТИХИ О СЛАВЯНСКОЙ ВЗАИМНОСТИ

1

Полонянка, полунынька
полоумных близнецов,
приграничная полянка,
травы смяты брюхом танка,
раскроши-кроши, тальянка,
мать их братьев праотцов.

Всхлипнет, ухнет тихим эхо
взбитый в щепки березняк,
в землях Руся, Чеха, Леха
сметена межа и веха
и сострелена застреха,
ледяной свистит сквозняк.

Годовщины с дармовщины
пухнут, как в голодный год,
под сухим кустом лещины,
прилепив к щекам личины,
пляшет мой неизлечимый,
мой неназванный народ.

2

Иссякнет оно, иссякнет,
иссохнет оно, иссохнет,
и череп его размякнет,
и лоно его заглохнет,

но, каиновою печатью
клейменные в даль поколений,
мы той же чеканим печалью
свои неоплатные пени,

и те же славянские плачи
мы правнукам завещаем,
путь покаянья, как путь греха,
нескончаем.

Вот в чем, а впрочем, и не в том вопрос,
а просто в том, колючий, мягкий мох ли,
а ты ни в сон, ни в чох и только охни,
когда росток сквозь позвонок пророс.

Так, прирастая к стенкам бытия,
в небытие, в траву, хвощи и стланик
ты прорастаешь, приуставший странник,
и эта пристань предпоследняя твоя

все ярче, все сильнее зеленеет,
покуда небо звездное бледнеет.

Не в крыле самолета,
зоревых облаках,
ощущенье полета
в деревянных быках,

в неподвижных опорах,
вбитых в глину на треть,
в тех, мимо которых
в речку навзничь лететь.

Печальное не более, чем прочие,
прощание двоих через порог.
Так эти ночи вас не обморочили?
Прощайтесь. Только прочен ли зарок

от обмороков? С досточки порога
какими петлями пойдет дорога
по обе стороны воздвигнутой черты?
В каких ухабах слёз не удержишь ты?

И на какой — бетонной ли, проселочной —
в сияньи фар, в тумане, как во сне,
ему, как свет в лицо, ударит голос твой:
"Прощай, прощай, да помни обо мне".

Укрыться в детство, в светомаскировку,
в неведение, в нетопленный подвал. . .
О время, время, сделай остановку,
чтоб час двенадцатый не прѣбил, не позвал

на помощь. Ну, какая с меня помощь?
Как фонари, угашенные в полночь,
как шлюзами зажатая волна,
я над собою нынче не вольна.

О время, время, поверни порядок,
связующее разорви звено,
о время! . . Но безмолвствует оно,
в убежище колдунчиков и прятков
нам никому вернуться не дано.

О ком ты вспомнила, о ком ты слезы льешь
(и, утираясь, говоришь, что слезы – ложь)
в бетонной скуке станции Ланская,
в хлопках автоматических дверей,
где небо с пылью склеено. . . – Какая
тоска и гарь! – Так едем поскорей!

И вот поехали, и вот последний крик,
как стронулся, таща тяжелый след, ледник,
теряя валуны в межреберных канавах,
в мельканьи пригородов, загородов, дач,
в желтоволосых придорожных травах
и в полосах удач и неудач.

Когда что плоть, что дух, как лед, истаяли,
куда ж нам плыть, мой друг? Куда и стоит ли?
На перестуке шпал, на парусах обвислых,
на карликовых лодочках берез
куда ж нам плыть? В каких назначить числах
отход от пристани, не утирая слез. . .

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ РАННИХ СТИХОВ

- Данный мир 9
По прочтении книги Рэя Брэдбери "451° по Фаренгейту" 11
Огонь в печи почти погас 13
Отраженье фонаря в луже 14
Мы согреем холодные стены сарая дыханьем своим 15
Я знала: это – чудо 16
Когда смолкают короли 17
Ну, где же дом, который для меня построил Джек? 18
Стуча копытами по небу 19
Прости меня 20
Утро. Ветрено. Лес 21
Колокола и купола 22

СТРЕЛОК ИЗ ЛУКА

- Глядите на подоконник 25
Концерт для оркестра 27
Как андерсовской армии солдат 28
А чего ты? А я ничего 29
Стрелок из лука, стрелок из лука 30
Вот солнышко. Оно без тиражей 31
Пора понять начало всех начал 32
Мой Фортинбрас, мой бедный брат 33
Но это только ветра свист 34
Свело мне руки водою ледяной 35
Все равно потом 36

О город, город, о город, город 37
Я в лампу долю керосина 38

ГРАНИЦА СВЕТА

Что о беде да что о красоте 41
Три стихотворения Иосифу Бродскому 42
В аракчеевом Чудове 44
За рифмой не гонюсь 46
Твой взгляд ложится мне в глаза 47
В тридевойтой жизни, счастливая случайность 48
– Не тронь меня! – кричу прохожим 49
Не избыть беды, не избежать беды 50
Три стихотворения, написанные в дороге 51
Прохожий – проходи! 53
Шарманка, пой, шарманка, вой 55
Сила соленого ветра 56
Смирненно опущу глаза 57

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

Говорить разучусь 61
О жизнь моя, междометие 62
А я откуда? Из анекдота 63
Со страниц моих 64
И вовсе нету ничего – ни страху 65
Прощание с Кюхельбеккером 66
Неоконченные стихи 67
И к сладости дождя примешивая слезы 68
Сверчок поет в сочельник 69
На шею вешаюсь, как ладанка и крест 70
От возраста дошкольного 71
Не сокруши меня ты, Господи 72

Воскресенье 73

- Любовь, любовь! Какая дичь 74
Но нет меня в твоём условном мире 75
Окраины враждебных городов 76
Расти во мне, тревога 77
Ни элегий, ни од, ни эклог 78
Не потому что ты, не потому что я 79

ТЕМНОТА

- Любовь проотрицав 83
У радостного Моцарта весло 84
Światła i świata piękności 85
В сумасшедшем доме 86
Ты – горе мое. Ну, горе мое, засмейся 87
Суханово 88
Здесь, как с полотен, жжется желтый полдень 89
Афродита, белая пена с плеч 90
А это не жизнь и не площадь 91
Смахни со щек блаженство полусна 92
В моем родном двадцатом веке 93
Шестистишия 94
Горсточку воды 96
... и теплых желтых звезд мимозы 99
Под дождь, как под душ для души 100
Наревешься, наплачешься вволю 101
Вот, назначай свиданья в декабре 102
Вот я больна, в жару, в поту малинном 103

АНГЕЛ ДЕРЕВЯННЫЙ

- Если день – это день, то огонь 107
И другу дорога за то, что 108

Есть музыка, а больше ни черта 109
Сонатный вечер 110
Что навсегда? Что значит навсегда? 111
Страстная, насмотришься на демонстрантов 112
Беляево-Богородское 113
Засмейся, несгораемая плоть 114
Как вешняя лыжня 115
Опять собирается вещей Олег 116
Волхонка пахнет скошенной травой 117
И горы глухи, и долины дики 118
Как падает затравленный олень 119
Проклятье! Счастье! Пишутся! 120
Милый, милый, удивленный 121
И жить не хочется, и чувствовать невмочь 122
Горстку снега протяни 123

СТИХИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КНИГИ

Прощай, прощай, прощай 127
Я с тобою тихо-тихо 128
Хоть на день, хоть на час 129
Глухого дерева листва 130
Еще не знавшие значенья 131
Свет мой ясный, нынче полночь 132
А на моих часах 133
Ужаленный сходством 135

ТЮРЕМНЫЕ СТИХИ

Любовь моя, в каком краю 139
Воспоминание о Пярвалке 140
Какая безлунной, бессолнечной ночью тоска
подступает 141

В продолжение долгих недель 140
Вздохнет, всплакнет валторна электрички 143
Ручей не расцветает 144
А завтра здесь не сыщешь и следа 145
О зим российских лютые морозы 146
Возьми разбег и с полдороги 147

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Как вольно дышит Вильно по холмам 151
Страданья, страсти, радости и страх 152
Засыпают чьи-то сны 153
Не зови меня никем и ничем 154
Какие гулкие звучанья 155
Хочу надеяться, что там 156

СОЛНЦЕ – НА ЛЕТО, ЗИМА – НА МОРОЗ

Протяжная вечерняя трава 159
Но что на этом темном этаже 160
Не выплыву, не доплыву 161
На вечной сцене 163
Кто бросает веревку 164
Что там за шорох? 165
Москва моя, дощечка восковая 166
Всё о любви, всё только о любви 167
Мы меняемся день ото дня 168
Сон – это сонная, вязкая река 169

ДОЖДИ, И ЗАСУХА, И НОВЫЕ ДОЖДИ

- В аквариум света выплывешь поплывешь близорукою
тенью 173
- На воде, все равно что нигде 174
- Приснись под утро лестничка 175
- Сотру со лба соленый след работы 176
- Когда, коснувшись утренней звезды 177
- Когда, доставши до звезды 178
- Между явью и сном 179
- И знойно, и пыльно, и пух тополиный 180
- Спешి насладиться касательной негой слепого
дождя 181
- Засуха, злая мачеха 182
- Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу
потом 183
- Всё. С концами. Не в этой жизни 184
- В ладоши ладожские льдины 185
- В исследовании селедочной головки 186
- Спи, кузнечиков хор! 187

НАУКА РАССТАВАНЬЯ

- Это голос мой, голос мой – или 191
- Пейзаж – как страж в дверях моей души 192
- "Новая волна"* 193
- Как циферблат, неумолим закат 194
- Стихи о славянской взаимности* 195
- Вот в чем, а впрочем, и не в том вопрос 197
- Не в крыле самолета 198
- Печальное не более, чем прочие 199
- Укрыться в детство, в светомаскировку 200
- О ком ты вспомнила, о ком ты слезы льешь 201

Издательство „Ардис“

Владимир Набоков, ДАР
Владимир Набоков, ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ
Владимир Набоков, БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ
Владимир Набоков, ЛОЛИТА
Саша Соколов, ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ
Саша Соколов, МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ
Андрей Битов, ПУШКИНСКИЙ ДОМ
Фазиль Искандер, САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА
Фазиль Искандер, КРОЛИКИ И УДАВЫ
Василий Аксенов, ОЖОГ
Василий Аксенов, ОСТРОВ КРЫМ
Владимир Войнович, ИВАНЬКИАДА
Булат Окуджава, 65 ПЕСЕН
Иосиф Бродский, ЧАСТЬ РЕЧИ
Семен Липкин, ВОЛЯ
Алексей Цветков, СОСТОЯНИЕ СНА
Лев Копелев, ХРАНИТЬ ВЕЧНО
МЕТРОПОЛЬ. Литературный альманах

ГЛАГОЛ № 1, № 2, № 3. Литературный альманах

ЦВЕТАЕВА: ФОТОБИОГРАФИЯ
Марина Цветаева, ВЕРСТЫ
Марина Цветаева, ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН
Осип Мандельштам, ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА
Осип Мандельштам, КАМЕНЬ
Осип Мандельштам, ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ
Анна Ахматова, ЧЕТКИ
Анна Ахматова, ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ
Михаил Кузмин, ФОРЕЛЬ РАЗБИВАЕТ ЛЕД
Владислав Ходасевич, ТЯЖЕЛАЯ ЛИРА
Владислав Ходасевич, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Борис Пастернак, СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ
Андрей Белый, СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ
Федор Сологуб, МЕЛКИЙ БЕС
Евгений Замятин, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Андрей Платонов, КОТЛОВАН
Исаак Бабель, ЗАБЫТЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Андрей Соболев, ЛЮБОВЬ НА АРБАТЕ
Николай Эрдман, САМОУБИЙЦА